

*Поэт Евгений Боратынский принадлежит самой сердцевине золотого века русской литературы. Собеседник Гнедича и Жуковского, друг Дельвига и Пушкина, добрый приятель Вяземского и Дениса Давыдова, собеседник Чаадаева, Гоголя и Люболюбовых... В молодости — непревзойдённый эзегик, в зрелости — автор шедевров философской лирики... И при всём том взыскательнейший, предельно строгий к самому себе мастер поэтического слова:*

*Мой дар убог, и голос мой негромок...*

*Этим скромным признанием, ставшим знаменитой строкой, поэт словно бы накликал себе всю свою посмертную судьбу. Книг о нём совсем немного; круглые даты проходят почти незаметно; памятников нет... лишь недавно в Тамбове установлен бюст. А между тем Боратынский, самый негромкий гений русской поэзии, — несомненно, один из лучших наших поэтов всех времён.*

*К золотым страницам истории отечественной словесности принадлежит его замечательная, пусть и недолгая, дружба с выдающимся мыслителем Иваном Киреевским. Встречаясь, они всякий раз беседовали далеко за полночь, а в разлуке писали друг другу с каждой почтой. Это была искренняя и горячая дружба двух светлейших голов, двух умнейших людей XIX века. Сохранилось более 50 писем Боратынского к Киреевскому; писем же философа к поэту время не пощадило.*

*Вскоре в издательстве “Молодая гвардия” выйдет первая биография Боратынского в серии “Жизнь замечательных людей”. Её автор — поэт Валерий Михайлов, недавно издавший в этой серии книгу о Лермонтове. Жизнеописание Е. А. Боратынского отнюдь не приурочено к очередной круглой дате, хотя в этом году в феврале по старому и в марте по новому стилю будет отмечаться 215 лет со дня его рождения. Дело, конечно, не в памятных датах, а в нашей памяти: без стихов Евгения Абрамовича Боратынского немыслима русская поэзия. Ни прошлая, ни сегодняшняя...*

## ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВ

### “МЫ ВИДИМ В ТЕБЕ МИЛОГО БРАТА...”\*

*Боратынский и Киреевский: начало дружбы*

С московскими Люболюбовыми Евгений Боратынский познакомился в 1826 году. Отношения как-то сразу не заладились из-за различных взглядов на мир и общество, да и на творчество. Лишь В. Ф. Одоевский и И. В. Киреевский сочувственно отнеслись к стихам Боратынского, другие отзывались о них с иронией и холодком и сторонились поэта. Характерные записи оставил в своём дневнике М. П. Погодин; судя по ним, он “затруднялся” говорить с Боратынским: “<...> не лежит к нему сердце”. Впоследствии Погодин признался и в другом: что он опасался даже показываться рядом с Пушкиным и Боратынским, людьми, подозрительными для правительства. В свою очередь, Боратынский скептически оценивал многое из сочинений Люболюбовых; так, о трагедии Погодина “Марфа Посадница” он сказал, что теоретические познания ещё никак не заменяют автору таланта.

\* Отрывок из книги “Боратынский”, которая готовится к печати в издательстве “Молодая гвардия” в серии ЖЗЛ.

Всё же с одним излюбимудров поэт позже по-дружески сошёлся. Это был Иван Васильевич Киреевский. “<...> В силу своего необыкновенно логического, твёрдого ума Киреевский был родствен по духу Баратынскому <...>”, – заметил по этому поводу биограф поэта Гейр Хетсо.

Иван Киреевский был шестью годами моложе Боратынского. Он происходил из старинного дворянского рода Калужской губернии, вырос в честной, умной, богобоязненной семье, уважающей, впрочем, и светские знания. Отец, Василий Иванович, владел пятью языками, был широко образован – и терпеть не мог кощунства: скупал сочинения Вольтера и предавал огню. Он отличался исключительной добротой, его крепостные жили в любви и достатке, а провинности искупали земными поклонами. Однажды продавали соседнюю деревню другому барину: мужики кинулись в ноги Василию Ивановичу с просьбой купить их. Но денег у него не хватало, и тогда крестьяне собрали свои сбережения, лишь бы только у них был “добрый барин”. В Отечественную войну 1812 года Василий Иванович создал на свои средства лечебницу для раненых пленных французов, пытался обратить их в истинную веру, но заразился тифом и умер. Мать, Авдотья Петровна, племянница Жуковского, оставшись молодой вдовой с тремя детьми, вышла замуж за Алексея Андреевича Елагина, бывшего боевого офицера, человека просвещённого и хорошо знакомого с немецкой философией. В Москве Авдотья Петровна стала хозяйкой одного из самых блестящих литературных салонов, где принимала гостей в собственном доме у Красных ворот.

Иван Киреевский сызмалу отличался необыкновенной даровитостью, к десяти годам был хорошо начитан в русской и французской литературе. В двенадцать лет он в совершенстве овладел немецким языком, после изучил греческий и латинский. Отчим беседовал с ним о немецкой философии; в Московском университете Киреевский слушал лекции профессора М. Г. Павлова, ученика Шеллинга.

Киреевский унаследовал лучшие качества своих родителей; впоследствии его друг и единомышленник Алексей Хомяков дал ему замечательную характеристику: “<...> Сердце, исполненное нежности и любви, ум, обогащённый всем просвещением современной нам эпохи; прозрачная чистота кроткой и беззлобной души; какая-то особенная мягкость чувства, дававшая особенную прелесть разговору; горячее стремление к истине, необычайная тонкость диалектики в споре, сопряжённая с самою добросовестною уступчивостью, когда противник был прав, и с какою-то нежною пощадою, когда слабость противника была явною; тихая весёлость, всегда готовая на безобидную шутку, врождённое отвращение от всего грубого и оскорбительного в жизни, <в> выражении мысли или в отношениях к другим людям; верность и преданность в дружбе, готовность всегда прощать врагам и мириться с ними искренно; глубокая ненависть к пороку и крайнее снисхождение в суде о порочных людях; наконец, безукоризненное благородство, не только не допускавшее ни пятна, ни подозрения на себя, но искренно страдавшее от всякого неблагородства, замеченного в других людях, – таковы были редкие и неочёные качества, по которым Иван Васильевич Киреевский был любезен всем, сколько-нибудь знавшим его, и бесконечно дорог своим друзьям <...>”.

Однако прошло два года, прежде чем Боратынский и Киреевский сблизились по-настоящему. В конце января 1829 года И. Киреевский писал к С. Соболевскому: “<...> С Барат<ынским> мы сошлись до ты. Чем больше его знаешь, тем больше он выигрывает <...>”. Это высказывание чуть ли не дословно повторяет мнение Вяземского о поэте, высказанное месяцем раньше в письме к А. И. Тургеневу. Очевидно, даже родственным по духу людям ум, сердце и характер Боратынского открывались не сразу, не вдруг, а постепенно. Поэт явно не держал душу нараспашку и, разумеется, никак не выставлялся лучшими своими качествами. Вряд ли он изучал, что за люди его новые знакомые, но, по-видимому, сблизиться с тем или иным человеком не торопился. Скорее, всё происходило своим чередом, само собою: по естественному ходу событий, как Бог на душу положит. А со стороны такая сдержанность вполне могла показаться равнодушием или же холодностью...

Характерным примером сказанного может послужить небольшая история с любомудром Н. М. Рожалиным.

Весной 1829 года Рожалин писал из Дрездена в Москву к А. А. Елагину: “<...> у вас теперь Пушкин, Баратынский и Вяземский <...>. Вы пишете, что

они все любят и меня, особенно Баратынский. Позвольте вам отвечать на это одно, что я очень знаю, как они меня любят, особенно Баратынский. Знаю, что ежели он иногда поминает обо мне, то из лести вам, и потому не оскорбьтесь, ежели я прошу вас никогда не поминать обо мне при нём; я имею на это причины и, будучи совершенно доволен одной вашею дружбою, не хочу, чтобы она отзывалась в таких людях, как Баратынский”.

Но уже через полгода обиженный непонятно на что любомудр в корне изменил своё мнение, причём даже не выезжая из Дрездена. Он обратился с письмом к А. П. Елагиной, где, в частности, заметил: “<...> Вы полюбили Баратынского? Это значит, что он стоит любви и что я худо знал его. Часто я сужу о людях слишком поспешно; особенно бываю опрометчив в своих антипатиях. Так случилось и на счёт Баратынского <...>”.

Сам поэт, возможно, и не знал всего этого...

Так или иначе, Москва всё теснее сводила его с молодыми писателями и мыслителями из “Общества любомудров”. Дельвиг был далеко и приезжал в первопрестольную редко; Пушкин бывал тут короткими наездами; Вяземский подолгу жил в Петербурге... С кем ещё мог Баратынский приятельствовать и вести беседы в Москве, как не с любомудрами?..

Киреевскому поэт *предался* “с полною дружбой”, как сам выразился в письме к его матери, А. П. Елагиной. Это особенно заметно по одному из писем к молодому философу (осень 1829 года): “<...> я рад, что нахожу тебя таким, каков ты есть, рад, что моё чутьё меня в тебе не обмануло, рад ещё одному: что ты, с твоею чувствительностью, пылкою и разнообразною, любил меня, а не другого. Я нахожу довольно теплоты в моём сердце, чтоб никогда не охладить твоего, чтобы делить все мечты и отвечать душевным словом на душевное слово. Береги в себе этот огонь душевный, эту способность привязанности, чистый, богатый источник всего прекрасного, всякой поэзии и самого глубокомыслия. Люди, которых охлаждает суетный опыт, показывают не пронизательность, а сердечное бессилие. Вынь сердце своё свежим из опытов жизни, не позволяй ему смутиться ими – вот на что мы должны обратить все наши нравственные способности <...>”.

Последнее пожелание, похоже, относится им и к самому себе не меньше, чем к молодому другу. Баратынский, кажется, предчувствует те сумерки, что вскоре начнут всё неумолимей окутывать его душу. Дружба видится ему одним из последних убежищ от суетного мира:

“Прекрасное положительнее полезного, оно принадлежит нам в большей собственности, оно проникает всё существо наше, между тем как остальное едва нами осязается. Я пишу эти строки с истинным восторгом, знаю, что твоё сердце не имеет нужды в подобных поощрениях, но мне, в мои теперешние лета, испытав, по некоторым обстоятельствам более другого, размышляя не менее других, мне сладко с глубоким убеждением принести это свидетельство в пользу первых чистых вдохновений сердца, простительных, годных, по мнению эгоизма, только в одну пору, а по мне – священных, драгоценных во всякое время. – Я заболтался, душа моя, но от доброго сердца. Желание моё состоит в том, чтобы ты воротился из дальних странствий каким поехал и обнял бы меня с старинною горячностью <...>”.

Уезжая весной 1829 года с семьёй в Мураново, он дал своим молодым собеседникам (И. Киреевскому, А. Веневитинову, М. Погдину) “блистательный обед у Яра”, как сообщил Погдин Шевырёву в Рим.

А Дельвигу в то же время написал в письме, что тяжко занемогла его младшая дочь Катенька. Дельвиг отвечал из Петербурга: “Милый друг, посылаю тебе шинель непромокаемую для твоего тестя и желаю, чтобы письмо моё нашло тебя спокойнее, чтобы дети твои были здоровы. Ужели ты не знаешь, что болезнь очень частый гость у малюток? Надобно только заботиться о них, но не упадать душою. Вырастут, об нас будут заботиться. Зато как мы подгуляем, выдавая твоих дочек замуж! Я чувствую нынешний день себя лучше. Если бы не бессонница, то уже давно бы прыгал. Ты пишешь, буду ли я издавать “С<еверные> цветы”? Буду и прошу не оставлять их. Твой же запас желал бы прочесть поскорее. Ужели ты думаешь, что твои стихи мне надобны только для альманаха? Мне нужно для души почитать их, она, бедная, голодна и сидит на журнальных сухариках. Сжался!.. Я тоже пишу кой-что и надеюсь прислать к тебе, что сделаю, да мне писать трудно. Если тесть мой в Москве, так не говори, что я болен, он, бедный, сам нездоров и беспоко-

ится об нас во вред здоровью. Скажи, что я потому не еду, что ищу и ещё не получил места в Москве, что также правда <...>.”

Грустное письмо! Дельвиг хворал, и сильно. Кто знал тогда, что ему, тридцатилетнему, оставалось уже немного...

Были трудности с альманахом: Полевой, Булгарин и Погодин – отвернулись, обиженные тем, что *аристократы* на них “смотрят сверху”. Поддержал Дельвига только Киреевский...

По мнению Г. Хетсо, сближение с Иваном Киреевским наконец позволило Боратынскому найти своё место в новой литературной среде. “<...> Не то, чтобы поэт чувствовал себя там духовно свободным. Отношения его со многими московскими писателями были двойственны и даже проблематичны. Но, сблизившись с Киреевским, Баратынский хорошо усвоил идеалистическую философию Любомудров, и она наложила определённый отпечаток на его творчество. Несомненно, что перемена, которая в конце 1820-х годов становится заметной в поэзии Баратынского, во многом объясняется влиянием на него Киреевского”.

В этом утверждении, которое биограф в дальнейшем всячески развивает, всё же есть нечто сомнительное. Тут кроется некое недоверие к самостоятельности мышления поэта, к его мировоззренческой зрелости. И сам собой возникает вопрос, примерно такой же, как в известной загадке: что же появилось раньше – яйцо или курица...

Так что же изначально: мысль или чувство? философия или поэзия?

Разумеется, беседы с Киреевским *повлияли* на Боратынского, как, наверное, и беседы с поэтом *повлияли* на философа. Кто на кого влиял сильнее – вопрос, мало поддающийся разрешению.

Вообще, так ли нуждается поэт в идейном учителе, как это кажется со стороны? Знание *теории*, как с усмешкой говорил сам Боратынский о Погодине, отнюдь не заменяет природного дара. Да и трудно представить себе умного и самостоятельного Боратынского в роли примерного ученика, усваивающего уроки “идеалистической философии”. Вряд ли такое неравенство породило бы сердечную дружбу между поэтом и молодым философом...

В записной книжке одного из виднейших Любомудров, Владимира Фёдоровича Одоевского, есть интересная мысль о поэзии и философии, причём записана она как раз в то время, когда Боратынский тесно подружился с Киреевским, – в мае 1830 года: “Что наиболее меня убеждает в вечности моей души – это её общность. На поверхности человека является его индивидуальный характер, но чем дальше вы проникаете во глубь души, тем более уверяетесь, что в ней, как идеи, существуют вместе все добродетели, все пороки, все страсти, все отвращения, что там ни один из сих элементов не первенствует, но находится в таком же равновесии, как в природе, так же каждый имеет свою самобытность, как в поэзии. Оттого наука поэта не книги, не люди, но самобытная душа его; кто в душе своей не отыщет отголоска какой-либо добродетели, какой-либо страсти, тот никогда не будет поэтом или – другими словами – никогда не достигнет до глубины души своей. Оттого поэт и философ одно и то же. Они развиты лишь по индивидуальным характеристикам лица: один стремится извергнуть свою душу, вывести сокровища из их таинственного святилища, философ же боится открыть их взорам простолюдинов и созерцает свои таинства внутри святилища. В религии соединяется и то, и другое. Религия выносит на свет некоторые из своих таинств и завесой накрывает другие. Оттого в каждом религиозном человеке вы находите нечто почти что философическое, которое, однако же, не есть ни поэзия, ни философия; в древние времена она была их матерью, в средние они как бы заплатили ей долг свой, поддерживая её, в новейшие постарались заменить её, в будущем они снова сольются с ней <...>.”

(Поэт – пророк. В минуту вдохновения он постигает сигнатуру периода того времени, в котором живёт он, и показывает цель, к которой должно стремиться человечество, дабы быть на естественном пути, а не на противоестественном <...>”).

И, наконец:

“Кто же больше имеет значения – поэт или философ? Сей вопрос существовать не может! Поэт не столько проникает в глубину души, ибо он гость времени, которое философ употребляет на большее погружение в самого себя, он проводит обмен сокровища души в образы, но зато он всё же что-либо,

но выносит на свет; истинный философ не унижается до сего, если он и берёт в руки перо, то есть становится за минуту поэтом, то ждёт образов наиболее близких к чистым идеалам души, следственно, неприступных для толпы. В будущей религиозной эпохе человечества оба сольются воедино, но мы того так же постигнуть не можем, как наши праотцы не могли постигнуть, что из религии разовьётся поэзия, что в звуках, кроме мелодии, есть гармония или, лучше, что мелодия в чреве своём носила гармонию”.

Вот, пожалуй, лучший, современный Боратынскому и Киреевскому, ответ на вопрос: кто на кого и как повлиял. . .

В сентябре 1829 года Боратынский с женой и детьми уехал в Мару, и надолго, до следующей весны. “<...> Надеюсь, что в деревенском уединении проснётся моя поэтическая деятельность, — писал он Ивану Киреевскому, который собирался за границу. — Пора мне приняться за перо: оно у меня слишком долго отдыхало. К тому же, чем я более размышляю, тем твёрже уверяюсь, что в свете нет ничего дельнее поэзии <...>”.

И в деревне покоя не было, как писал он Вяземскому, от набега “целой орды соседей”, этих “двуногих комаров”, пьющих если не кровь, то “время на дело”.

Как ни досаждали визиты скучающих помещиков и семейные хлопоты, Боратынский всё же принялся за большую работу. “<...> у меня новая поэма в пяльцах, и поэма ультраромантическая, — писал он в конце ноября И. Киреевскому. — Пишу её, очертя голову <...>”.

Давно у него не было в посланиях такой добродушной бодрости! . .

В январе 1830 года в альманахе М. А. Максимовича “Денница” вышел отрывок из новой поэмы “Наложница”. В этом же номере было напечатано “Обозрение русской словесности за 1829 год” Ивана Киреевского — там немало замечательных суждений о поэзии Боратынского, глубоких и точных:

“<...> муза Баратынского, обняв всю жизнь поэтическим взором, льёт равный свет вдохновенья на все её минуты и самое обыкновенное возводит в поэзию посредством осветительного прикосновения с *целою* жизнью, с господствующею мечтою. Оттого, чтобы дослышать все оттенки лиры Баратынского, надобно иметь и тоньше слух, и больше внимания, нежели для других поэтов. Чем более читаем его, тем более открываем в нём нового, не замеченного с первого взгляда — верный признак поэзии, сомкнутой в собственном бытии, но доступной не для всякого. Даже в художественном отношении многие ли способны оценить вполне достоинство его стихов, эту точность в выражениях и оборотах, эту мерность изящную, эту благородную щеголеватость? Но если бы идеал лучшего общества явился вдруг в какой-нибудь неизвестной нам столице, то в его избранном кругу не знали бы другого языка. — Между тем красота жизни поэтической, с лица которой муза Баратынского сняла покрывало до половины, доказывает нам, что поэт ещё не весь выразился в стихах своих; что мы должны ожидать ещё несравненно более того, что он совершил; что ему ещё предназначено столько превзойти наши ожидания, сколько разоблачение красоты может удивить воображение <...>”.

К поэме “Бал” Киреевский отнёсся более критически, однако выразил всё это довольно темно:

“Но в его “Бальном вечере”, напечатанном в прошлом году, есть недостаток, которого нет в “Эде”, ни в “Переселении душ”, этом милом, остроумно-мечтательном капризе поэтического воображения: в “Бальном вечере” Баратынского нет средоточия для чувства и (если можно о поэзии говорить языком механики) в нём нет одной *составной силы*, в которой бы соединились и уравновесились все душевные движения. Несмотря на это, однако ж, эта поэма превосходит все прежние сочинения Баратынского изящностью частей, наружною связью целого и совершенством отделки. В самом деле, кто, прочтя её, не скажет, что поэт сделал успехи; что самые недостатки его доказывают, что он требовал от себя больше, чем прежде; что смешение тени и света здесь не сумерки, а рассвет, заря новой эпохи для его таланта <...>”.

Мысли И. Киреевского о Боратынском вызвали отклики в печати.

Александр Пушкин в рецензии, опубликованной “Литературной газетой”, заметил, что критик видит в Боратынском поэта “самобытного, своеобразного” и “справедливо ставит “Эду”, одно из самых оригинальных произведений элегической поэзии, выше “Бального вечера”, поэмы более блестящей, но менее изящной, менее трогательной, менее вольно и глубоко вдохновенной”.

Последние слова, по сути, говорят о том, что Пушкин видел в поэме “Бал” больше обдуманности и мастерства, нежели стихийного вдохновения и своеобразия.

Николай Полевой подвергнул мнение Киреевского саркастическому разному, упрекнув автора в том, что “<...> даже недостатки он ставит г-ну Баратынскому в достоинство”. Полевой в то время разорвал отношения с аристократами, разошедшись во взглядах на “Историю Государства Российского” Карамзина, и ругал их на чём свет стоит. А. П. Елагина, мать братьев Киреевских, писала к С. А. Соболевскому в начале 1830 года: “<...> Недавно Полевой сказал при многих, что Пушкин, Вяземский и Баратынский одним им стали так известны и что он втопчет их опять в ту грязь, из которой вынул <...>”. То же самое и в схожих выражениях сообщал и Погодин Шевырёву в Рим...

Н. Полевой не ограничивался критикой в печати и устной бранью, но и писал вдобавок эпиграммы, чаще всего на Боратынского:

*Зачем мою хорошенькую Музу,  
Голубчик мой, ты вздумал освистать?  
Зачем, скажи, схоластики обузу  
На жар ума ты вздумал променять?  
Тебя спасал сто раз, скажи, не я ли?  
Не я ль тебя лелеял и берёг,  
Когда тебя в толчки с Парнаса гнали,  
Душа моя, Парнасский простачок.*

Полевой подписывался псевдонимом Гамлетов. Он всерьёз полагал, что поэты обязаны славой исключительно критикам, в упор не замечая, что его “хорошенькая Муза” способна лишь на корявые эпиграммы... Чуть позже Гамлетов обратился уже Обезьяниным – и спародировал пушкинское стихотворение “Собрание насекомых”, задев вместе с Пушкиным всех его друзей по перу, где Боратынский был назван: “<...> Финский наш чертополох”...

Ни Боратынского, ни Вяземского, ни тем более Пушкина Полевой, несмотря на все свои потуги, в грязь, конечно, не втоптал, – разве что сам изрядно измарался...

Ранняя и неожиданная смерть Дельвига повергла Боратынского в белезнь, разбередила душу и заставила ещё больше задуматься о своём призвании.

Поправившись, он по весне уехал с семьёй в Мураново.

В канун этой поездки в московской типографии при Императорской Медико-Хирургической Академии вышла из печати его поэма “Наложница”. Впрочем, на обложке значилось отнюдь не слово – поэма, а сочинение, – но по сути это был роман в стихах.

К тому времени у Боратынского было, по-видимому, готово и сочинение в прозе – повесть “Перстень”, которую он намеревался передать “Литературной газете”. “Лета к суровой прозе клонят, // Лета шалунью рифму гонят...”, – заметил Пушкин в “Евгении Онегине”... Не то ли же самое чувствовал и его ровесник Боратынский, не спешивший, однако, расставаться со стихами?.. Именно в это время он глубоко задумывается о том, что же такое роман и каким он должен быть. В письмах к Ивану Киреевскому (написанных, предположительно, весной 1831 года) эти мысли выражены с предельной остротой:

“<...> Все прежние романисты неудовлетворительны для нашего времени по той причине, что все они придерживались какой-то системы. Одни – спиритуалисты, другие – материалисты. Одни выражают только физические явления человеческой природы, другие видят только её духовность. Нужно соединить оба рода в одном. Написать роман эклектический, где бы человек выражался и тем, и другим образом. Хотя всё сказано, но всё сказано порознь. Сблизив явления, мы представим их в новом порядке, в новом свете. Вот тебе вкратце и на франкмасонском языке мои размышления <...>”.

Это пока теория, до дела ещё не дошло; сказывается давняя привычка всё досконально продумать, прежде чем взяться за перо.

“Я покуда ничего не делаю. Деревья и зелень столько же развлекают меня в деревне, сколько люди в городе. Езжу всякий день верхом, одним словом, веду жизнь, которой может быть доволен только Рамих <...>”, – шутит Боратынский, упоминая имя семейного врача.

В следующем письме к другу поэт сообщает, что летом, “...а в сентябре непременно”, он будет в Москве и тогда уже вполне растолкует свои мысли о романе, которые он изложил “слишком категорически”. Киреевский в то же время сам работал над романом, и потому Боратынскому именно с ним хотелось поделиться всем, что накопилось на душе:

“<...> Как идеал конечного возьми “L'ane mort” и “La confession” <романы Жюль Жанена “Мёртвый осёл” (1829) и “Исповедь” (1830)>, как идеал спиритуальности – все сентиментальные романы: ты увидишь всю односторонность того и другого рода изображений и их взаимную неудовлетворительность. Фильдинг, Вальтер Скотт ближе к моему идеалу, особенно первый, но они угадали каким-то инстинктом современные требования и потому, попадая на настоящую дорогу, беспрестанно с неё сбиваются. Писатель, привыкший мыслить эклектически, пойдёт, я думаю, далее, то есть будет ещё отчётливее. Не думай, чтобы я требовал систематического романа, нет, я говорю только, что старые не могут служить образцами. Всякий писатель мыслит, следовательно, всякий писатель, даже без собственного сознания, – философ. Пусть же в его творениях отразится собственная его философия, а не чужая. Мы родились в век эклектический: ежели мы будем верны нашему чувству, эклектическая философия должна отразиться в наших творениях; но старые образцы могут нас сбить с толку, и я указываю на современную философию для современных произведений как на магнитную стрелку, могущую служить путеводителем в наших литературных поисках <...>”.

В Мураново он читает Руссо:

“<...> он пробудил во мне много чувств и мыслей. Человек отменно замечательный и более искренний, нежели я сначала думал. Всё, что он о себе говорит, без сомнения, было, может быть, только не совсем в том порядке, в котором он рассказывает. Его “Confessions” <“Исповедь”> – огромный подарок человечеству <...>”.

В Мураново настроение поэта наладилось. Нет лучше лета, чем в деревне: и проснуться весело, и гулять весело; часом раньше, нежели в Москве, чай поутру, и обед, и ужин; да ещё беседы, прогулки верхом по окрестным полям и лесным просёлкам; да ещё “то чувство, которому нет имени”, – всё, всё это и составляет “эту благодать семейного счастья”.

Новое письмо к Ивану Киреевскому исполнено необыкновенной сердечной теплоты. Утрата Дельвига только обострила его потребность в настоящем друге. И чувство его к жене, Настасье Львовне, стало уже таким, когда они – одно целое. Боратынский пишет письмо *слиянно* – не разделяя себя с ней:

“Дружба твоя, милый Киреевский, принадлежит к моему домашнему счастью; картина его была бы весьма неполной, ежели б я пропустил речи наши о тебе, удовольствие, с которым мы читаем твои письма, искренность, с которою тебя любим и радуемся, что ты нам платишь тем же. Мы видим в тебе милого брата и мысленно приобщаем тебя к нашей семейной жизни. Ты из неё не выходишь и в мечтах наших о будущем, и когда мы располагаем им по воле нашего сердца, ты всегда у нас в соседстве, всегда под нашим кровом. Ты первый из всех знакомых мне людей, с которым изливаюсь я без застенчивости: это значит, что никто ещё не внушал мне такой доверенности к душе своей и своему характеру <...>”.